

В письме твоём я даже голос твой слышу.

(В.П. Астафьев В.Г. Распутину, 1975)

Каждый из нас, если не на бумаге, то в памяти должен бить и бить свои последние поклоны.

(В. Г. Распутин В.П. Астафьеву, 1976)

Я давно собиралась написать тебе и не написала, и «мрачнею, как вспомню об этом», как сказал когда-то Коля Рубцов.

(М.С. Астафьева В.Г. Распутину, 1999)

Дорогие мои Валентин Григорьевич, Виктор Петрович и Марья Семёновна!

Яне буду выставлять даты, потому что там, где вы теперь, наверное, нет и самого слова «время», которое бессмысленно перед понятием «вечность». Я пишу вам это письмо из Михайловского, в котором вы все в разные годы бывали, и знаете, что здесь эти слова и понятия таинственно соединены, и вечность легко проступает сквозь время. И пишу осенью, когда особенно остра печаль угасания.

Так вышло, что время вашей переписки мы прожили, зная друг друга, встречаясь, а там и дружа. И оттого я читаю многие страницы, словно они обращены и ко мне. Да временами так и было, когда Марья Семёновна писала на машинке под диктовку Виктора Петровича словно нам с Валентином обоим (видно, по родству имён), так что некоторые из писем разнятся лишь несколькими абзацами. Это происходило не от экономии времени, а от единства дыхания.

Вот хоть самое начало. Помните, Виктор Петрович, Вы писали мне 14 ноября 1974 года: «Валя Распутин написал что-то совершенно не подпадающее моему разуму, потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести «Живи и помни». А через месяц, как я теперь вижу (20 декабря 1974 года), писали уже самому Валентину: «Очень ты хорошую повесть написал, Валя. Очень! Я такой образцовой, такой

плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе».

Или через полвека, в августе 1999 года, Марья Семёновна пишет тебе, Валентин (мы были на «ты»): «Меня мало утешает то, что изрёк итальянский поэт почти шесть веков назад «И жизни нет конца, и мукам краю». Муки действительно идут вместе в нашей жизни, зато сама жизнь чем дальше, тем ощутимее идёт на убыль... И тут уж, как сказал Пушкин «Как дни бегут, печали умножая» Господи! Одни цитаты, будто я такая умная...» И, верно, в тот же день мне с тем же началом, только после цитаты Пушкина: «Но это вовсе не потому, что я такая умная, увы, а скорее потому, чтобы выразить кратко то, что мне очень созвучно».

Может быть, мы и правда были на краткое время для них одно? И, если бы я знал это раньше, как иначе жила бы жизнь и как о многом думалось и писалось бы иначе. Но уж что теперь. Слава Богу, теперь я чувствую их роднее и слышу лучше. Я пишу это не для самоутверждения (какое самоутверждение в 77 лет?), а только в объяснение такого странного начала предисловия.

И тут, наверное, и оставляю это письмо к родным ушедшим теням, чтобы обратиться уже к тебе, читатель. И как бы хотелось не отвлечённо, а прямо и лично, сразу по имени без остраняющего обобщения (на «ты», на «ты!»), потому что слишком живо и остро то, о чём надо говорить

на полях этой переписки самых, может быть, открытых и самых дорогих русскому читателю людей. Не писателей, подчеркну, а живых, любящих, страдающих людей, деливших с нами смутные дни времени, которое ещё не было историей, а было бедой, болью, надеждой, чем всегда бывает жизнь, прежде чем одеться в защитно-безличную одежду общего миропонимания.

Письма перед тобой, и каждый волен избрать более правого собеседника и толковать внутренние отношения авторов по своему миропониманию. Можно не смущаться — бывают ли у писателей «частные» переписки, когда мы, не краснея, читали письма моего сегодняшнего михайловского соседа Александра Сергеича к Наталье Николаевне: «Какая ты дура, мой ангел! Конечно, я не стану беспокоиться, что ты три дня пропустишь без письма, как не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь с кавалергардом». Как читали письма Софьи Андреевны к Льву Николаевичу (из комнаты в комнату!): «Ночью я всё обдумала и вот что мне стало мучительно ясно: одной рукой ты меня приласкал, а другой — показал нож». После этого любая переписка — общая. А я только по близости времени и знанию трёх участников переписки скажу о своём личном восприятии и прошу прощения, если оно покажется порой слишком частным или слишком произвольным. Я не учёный, не комментатор, а только заинтересованный свидетель, который нет-нет мелькнёт тут как «действующее лицо».

Как странно! Оказывается мы, привыкая к художественным текстам, и в переписке ищем прежде всего художников, чтобы пейзаж, образ, сюжет, чтобы они были они, а не мы. И мне сейчас хочется оказаться там — в Аталанке, Овсянке, Иркутске, на Ангаре и Енисее. А их нет как нет, как будто ушли дожди и снега, наша зависимость от природы, и пошли одни общие заботы. Вот, думал, сейчас, после анализа повести «Живи и помни», так и пойдёт диалог художников — анализы, истоки сюжетов, проговорки замыслов, называние прототипов — только подставляй потом и пронизательно восклицай: «А-а, вот это откуда...» Не дождёшься и не узнаешь из писем — откуда Настёна из «Живи и помни», откуда Анна из «Последнего срока», Пашута из рассказа «В ту же землю» или Тамара Ивановна из повести «Дочь Ивана, мать Ивана», хоть и замечено на полях, что не выдуманы, а взяты из реальной жизни. И «хронологию замыслов» — когда, что, откуда пошло — не выманишь. Не будет ни дат, ни «реальных случаев», и скоро поймёшь, что письма и книги пишутся за разными столами.

Год за годом в письмах — быт, жизнь, издательские заботы, цензура, домашние беды, редкие радости... Нет-нет и озорство, как в счастливо-смешных письмах обоих после поездки в Японию, где любили того и другого и были «ссясливы видеть» (как Виктору Петровичу — да не передразнить чужую речь!) А самое главное — дело своё будто втайне держат, чтобы «не сглазить». Посто-

янно спрашивают друг у друга — работаете ли, но не проговариваются.

Если глядеть на одну эту переписку, покажется, что после «Живи и помни» Виктор Петрович читал у Валентина Григорьевича только «Что передать вороне?» с той же нежностью и восхищением — «такого мироощущения, такого проникновения в самого себя, в свою, а значит и человеческую душу, такого запредельного проникновения в звукопись, тонкости стиля и слова... и тебе ещё достигнуть не удавалось, хотя я очень люблю «Живи и помни». И Валентин Григорьевич нет-нет скажет о «Печальном детективе», о «Царь-рыбе» с тою же высотой, но особенно они баловать друг друга не будут, потому что оба, как Виктор Петрович уверены, что «восторги профессионально работающему человеку ни к чему».

Это и понятно, а всё-таки жаль, что редко говорят они о своих книгах, потому что порой в таких разговорах открывается что-то дальнее, много определяющее в судьбе, а там — и в миропонимании обоих. А потом, когда судьба и время берут власть над умом и сердцем, много объясняет и в том, отчего эти судьба и время начинают разводиться художников.

А разводиться оно начнёт скоро. После 1986 года Виктор Петрович умолкнет, и писать будет только Марья Семёновна, притворяясь, что пишет за двоих. И Валентин Григорьевич будет писать ей в тайной надежде, что она прочтёт Виктору Петровичу и всё можно будет обмануть себя, что они вместе. А «не вместе»

станут из-за различного понимания боевого времени «перестройки», когда, в общем, и все мы стали «не вместе» и пока прежнего единства так и не наживём. Я сейчас и свою переписку с Валентином Григорьевичем и Виктором Петровичем той поры смотрю и тороплюсь пролистнуть её скорее и позабыть — так там всё накалено и тревожно, всё на срыве. И какое, думаю, счастье, что они взяли на этот час в посредники Марью Семёновну. Да и не брали, а она сама любящим сердцем ограждала их от прямого столкновения.

В переписке нет упоминания «Слова к народу» 1991 года, которое подписал Валентин Григорьевич и которое хоть сегодня перепечатывай от буквы до буквы со стыдом за свою тогдашнюю глухоту, и нет призыва «Раздавите гадину!» 1993 года, подписанного (ни понять, ни представить) Д. С. Лихачёвым и Виктором Петровичем — документ террористический, хоть сейчас в 17-й, а то и 37-й год! При этом Виктор Петрович — по типографской ли лени, по нарочитой ли злости (чтобы заметнее было!) подписан последним — весь список от Адамовича до Чулаки по алфавиту, а Астафьев за Чулаки, как восклицательный знак. Упоминания-то в переписке нет, но расхождение всё отчётливее. И в письме ко мне после «Слова к народу» Виктор Петрович ещё пишет, что с Беловым больше не сойдётся, а с Валентином Григорьевичем «не без неловкости, но повидался бы», а уже в 1992-м холодно замечает, что и Валентин Григорьевич поселил в нём «здоровые

сомнения», чтобы в 1994 после «Гадины» и просто мне в лоб: сколько я буду «со своим Распутиным служить фашизму Зюганова и Проханова».

Почему мне так трудно и даётся разговор об этой части переписки: так не хочется возвращаться в дни общего помрачения левых и правых, одинаково неправых перед Богом. Потому и жалко, что в письмах мало о книгах — там иногда и в косвенном примечании прорастают причины взаимного непонимания. Вот хоть после горячих похвал «Живи и помни» Виктор Петрович укоряет Валентина Григорьевича за финал повести. Что по жизни Настёне бы не топиться с ребёнком, а «затеряться в любом леспромхозе — раз плюнуть». И там же сам предполагает: «нравственное что-то, совесть, неумение сдвинуться с места не позволили?» Правильно догадывается, а всё равно просит поправить и даже «что-то от лукавого» находит в печальном финале повести.

Я помню: мне и Владимир Литвин говорил, что это «не по жизни», что такие бабы и на его Севере часто растили детей — и хоть бы что. А только «нравственное что-то» было для Валентина Григорьевича выше «правды жизни». Пушкин вон тоже первый-то вариант «Бориса» заканчивал «по правде жизни»: народ кричал «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» А в печати сказало высшее: «народ безмолвствует», потому что тут была Божья правда о народе, даже если он в себе ещё этой правды и не слышал. Вот и у Валентина Григорьевича была выс-

шая. Тот «безмолвствующий народ» и не позволил Настёне спрятаться в леспромхозе. Отчего эта высшая правда так потрясла японскую переводчицу Харуко-сан, что она крестилась в православие с именем Анастасия, чтобы продлить в мире эту святую правду.

Разное это понимание народа болело в них обоих. В 1994-м году Виктор Петрович жалуется мне: «Распутин в «Правде» обвинил меня, что оторвался от народа. От какого народа?» и дальше горько и обидчиво, что народ-то вот он — и всех вокруг поимённо. Да только разве Валентин-то Григорьевич этого народа так же поимённо не знал и низости его не видел (почитайте в письмах его к Виктору Петровичу, что делал этот «народ» в его деревне, да и в Иркутской квартире — сколько зла и какой-то мстительной нечистоты), а только когда писал это слово, то поднимал его на пушкинскую высоту и там всегда и держал народ, и народ это его высшее заступничество слышал, подтягивался и любил с братской и отеческой бережностью. А Виктор Петрович оставался с «овсянскими гробовозами», с нечистью «Печального детектива», с повседневной правдой. И тоже любил и понимал, но заглавной буквы в написании этого слова так до конца и не ставил. И у него народ был всякий и доброго хватало с избытком, но всё-таки это были все «люди», земляки и товарищи, а не «народ», которого он боялся, а то и ненавидел за то, что этим обобщённым «народом» делалось море зла и ломались судь-

бы, в том числе и в его семье. Разные были у них «народы» и оба русские, как сами Виктор Петрович и Валентин Григорьевич и жалко, что в этом главном не сошлись.

Слушая это расхождение и болея им в те же годы, я даже надумал однажды, что в эту переломную пору только сами писатели, кажется, и оставались этим высшим народом, пока «люди» бегали по политическим лагерям и тешились противостоянием. Они (Распутин, Шукшин, Астафьев, Белов, Носов — ряд, слава Богу, был долог и крепок) держали в слове золотое народное сердце, чтобы однажды устыдить им потерявших себя «людей». Оттого в 1990-м Валентин Григорьевич ещё думает нагрянуть к Виктору Петровичу с Крупиным, и в 95-м Виктор Петрович, сердясь на Распутина за «ослабленный» рассказ «Сеня едет», пишет мне (тоже, верно, в надежде, что «передам»), что не надо ему «под Шукшина», потому что «лучший Валентин — это чтение трудное, к нему надо готовиться, очищаться маленько, как перед исповедью». В расхождении так не говорят. А в 1998 и просто ждёт его и Белова на Петербургскую конференцию библиотек, и на «Литературные вечера» в Овсянке. Конечно, не дождётся и отчасти из-за этого окончательно сердцем не отмякнет. Читал я тогда больной маме вслух «Пеструху» Виктора Петровича, посвящённую Валентину Григорьевичу, плакал вместе с ней и так и не сказал, что они, по моим рассказам о том и другом давно уже родные ей, «не разговаривают». Не поняла бы

она, как не поняли бы Анна и Дарья, а уж вот Пашута и Тамара Ивановна, пожалуй бы, и задумались.

Ну, и хватит об этом. Просто не хотелось обходить эту болезную тему — всё равно бы знающие читатели спросили, да и сейчас зло спрашивают. Оставим это горькое расхождение на совести времени, которое нажило слишком много «правд», являющихся, когда теряется из виду «Путь, Истина и Жизнь».

Лучше вчитаемся в свет и уходящую правду, которая даже и не уходит, а уж подлинно ушла, как ушла и та литература, в которой ещё слышалось общее сердце. Я уже цитировал, как Виктор Петрович читал и слышал «Живи и помни» и «Что передать вороне», какие небесные слова находил — он, который уже и Толстого, «Войну и мир» готов был в те поры «сократить» («барский роман»). И Валентин Григорьевич к слову был строг и от него случайного слова, а уж тем более похвалы, было не услышать. А вот поглядите-ка, как он о светлейших главах «Последнего поклона» говорит: «Это уже некое вознесение письма и осияние его». И о «Царь-рыбе»: «Не только поражаюсь, а и подавляюсь этой мощью и точностью и чувствую себя ребёнком, который впервые разинул глаза на мир Божий». Кажется, они оба были изумлены, что вот Бог отметил их чудным даром сложения слов и порой вглядывались в себя почти «посторонним взглядом». И не могли позволить себе приблизительного слова, потому что Слово это принадлежало не им.

Хотя и тут они различны. Виктор Петрович знал своё высокое писательское место и при малейшем посягательстве на него «посылал» посягающего и писал жёсткие письма в «большие инстанции» по близким ему проблемам, касалось ли это молодых писателей или долгой травли его после публикации рассказа «Ловля пескарей в Грузии». А Валентин Григорьевич вон пишет Марье Семёновне, что «никогда всерьёз к себе, как к писателю, не относился и все похвалы и чины принимал с испугом» и боялся, что его «принимают за другого». Тут не было самоуничтожения, а было то же чувство и понимание высоты русского слова, которое, как он однажды писал мне, «давалось Виктору Петровичу само, так что его «тесто» валило через край — не удержишь — а ему, Валентину Григорьевичу, надо было «всё время дрожжец добавлять, чтобы взошло».

И, наверное, я по недоразумению сетую, что в переписке мало собственно писательских дел, кроме неизбежных рабочих упоминаний редколлегий и секретариатов. А надо бы как раз удивиться, что из тесноты семейных хлопот, потери детей, смертей близких, неустроенного быта, а в последнее время — ещё подневольного депутатства и советничества, они, словно укрывшись в тайном углу, пишут лучшие книги, высветляя и возвышая в них этот человеческий быт до чуда общей, таинственной и нас обнимающей жизни.

А «депутатство это и всякие Советы», куда их за совесть-то и выбирали, для них уже больше были

в тягость и обременение. Виктор Петрович умел эту обузу половчее стряхивать и Валентина Григорьевича всё звал работать, а не «бороться», и Валентин Григорьевич сам знал, что хорошая книжка и правда больше сделает, но, видя боль страны, понимал, что «писатели — единственные, кто ещё пытается говорить об этом». И вот опять народное-то в нём свойство: «Спросят, поди-ка, с нас за это?». И не в Советах спросят, а на небесах, где с русского человека спрос особый.

Иногда со злостью думаешь, что все тогдашние «поворотчики рек» и уничтожители природы «нарочно» высиживали свои идеи, чтобы скорее извести совесть народную. «Они ведь прекрасно понимают, — пишет Валентин Григорьевич, — что писатель потому и писатель, что у него не слоновья шкура и не каменное сердце, и всякий такой удар для него — что пулевая рана». Так что Виктор Петрович почти не шутил, говоря, что вот построят Байкальский комбинат и одним хорошим писателем будет меньше — весь на борьбу изойдёт (теперь мы знаем, сколько сердца стоили Валентину Григорьевичу эти байкальские заботы). И Виктор-то Петрович с солдатским и домовским опытом от этих «опшщественных наседаний» (уж умел сказать, так умел!) может или тишком уклониться, или хлопнуть дверью, а Валентин Григорьевич будет тянуть лямку, потому что ведь не чужие люди, а чаще именно друзья вводят его в различные Комитеты и словно не видят, что пускают в «живые

щиты», потому что у него-то совесть и боль, а у них часто — «партийные интересы». Будто и не знают его и не видят, что «быть на виду» для него — «мука смертная».

Они должны были разойтись, как ни болезненно это прозвучит. В тот затянувшийся час нервного восторга и помрачения большинства — Виктор Петрович больше слушал улицу, а Валентин Григорьевич — своё сердце и не то, что не мог, не умел перемениться, но не хотел, потому что твёрдый характер и суровый ум, который он умел держать в узде, не позволяли ему изменить тому, что для сердца, для народной его части, было святыней. Разные они были. Виктор Петрович весь наружу, а Валентин Григорьевич — весь внутрь: две половинки одного русского сердца. Все врозь и все вместе — «умом Россию не понять». Даже и имена, коли семантику поглядеть: Валентин — сильный, здоровый (уж кто был на тот час сильнее и духовно здоровее Валентина Григорьевича), а Виктор — победитель. Не в одной войне, а во всей мучительной жизни. Другой бы сто раз сдался. Стихотворение-то Петrarки, которое цитировала Марья Семёновна: «И жизни нет конца, и мукам краю» первым отозвалось в сердце Виктора Петровича, и он цитировал его так часто, что, казалось, написал его сам — столько вместились в этой жизни преодолённого страдания.

И как удивительно и неизбежно и опять очень по-русски, что посредницей между ними на полтора десятилетия стала Марья Семёновна. И как же дорогá эта часть

переписки, где Марья Семёновна бьётся между ними и материнским русским чутьём удерживает и их, и наше сердце. Она была сама жизнь. Я писал предисловие к её «Избранному» и назвал его: «Свеча, зажжённая с двух концов». Это было сжигание разное. Виктор Петрович писал свою жизнь, считывая её с небес (как детство, война, свет и тьма бытия были написаны в общей человеческой судьбе), а она писала «как есть», «как было на самом деле». Кто читал «Весёлого солдата» Виктора Петровича и её «Знаки жизни» сразу поймут разницу. Виктор Петрович после чтения негодовал (а он умел делать это с подлинным пламенем), а она только растерянно говорила: «Витя, ведь там — всё правда». И что тут делать, если одна правда может быть прочитана так различно? Любимый Виктором Петровичем из-за совершенной противоположности дара Милорад Павич не зря писал, что одни читают в книгах мужские, а другие — женские страницы и они только вместе и есть жизнь.

И это она умягчала сердце Виктора Петровича, когда он писал в 1991-м году в «Литературную газету»: «что же касается «доброжелателей», вдруг обрадовавшихся нашему якобы с Распутиным и Беловым расхождению в жизни и творчестве, то и фронтовые мои друзья, и бывшие детдомовцы могут подтвердить, что товарищей и друзей своих я никогда не предавал. А друзья по литературе подтвердят, что я не разучился уважать убеждения других людей, как бы они ни расходились с моими».

И как это было важно и дорого Валентину Григорьевичу: «Тяжесть в душе наполовину снялась. Остальное уберём при встрече (тогда, в 1992-м, он ещё надеялся на неё). Уж если мы с Вами, с Виктором Петровичем перестанем понимать друг друга — дело совсем плохо. Уж как обрадовалась всякая шпана, рассчитывая, что мы разойдёмся всерьёз, с какой готовностью бросилась она помогать расходиться...»

Но «шпана» не оставила усилий и добилась бы своего. Да наполовину и добилась, если бы не Марья Семёновна, сама державшаяся за поэзию и за красоту мира (и в 86 она всё просила Бога продлить жизнь, потому что «не нагляделась на белый свет, не нарадовалась»). Когда Валентин Григорьевич признавался ей, что многому чему учился у Виктора Петровича в писательстве, а у «Вас — в жизни», то теперь и всякий читатель их переписки увидит, как действительно многому можно было выучиться «в жизни» у Марьи Семёновны по её многостраничным письмам, простым и долгим, как разговор в сумерках, когда отступают заботы дня, и слово берёт сердце.

Всякие общественные заботы и противостояния покажутся малы, когда увидишь, как часто она «подхватывает себя под мышки» и при последней усталости встаёт, чтобы «помогать Вите» в его неподъёмной работе: собирать архив, хлопотать об осиротевших внуках, которые тут, рядом, и которые пока больше печаль-забота, чем утешение, беспоко-

иться о больном свёкре, про которого («папу своего») Виктор Петрович написал с обиды много чего, а ей вот хочется «реабилитировать его, потому что он дал миру такого человека». И все у неё как-то рядом — вологодские, пермские, близкие, дальние. На всех хватает любви и сердца. И когда Виктор Петрович умрёт, они все будут держаться за него в делящейся переписке, а там, слава Богу, и в свидании и долгих разговорах: «так легко стало, будто и с Виктором Петровичем поговорил».

А виделись мы вместе (Марья Семёновна, Валентин Григорьевич и я) в последний раз в июле 2009 года после того, как навестили Виктора Петровича на кладбище и Валентин Григорьевич сказал, что может быть, из-за того, что слишком долго не виделись и не говорили в письмах, он не чувствует смерти Виктора Петровича, а будто тот вышел на минуту за какой-то книжкой, чтобы вернуться и горячо (это уж так!) договорить. О чём бы они говорили после стольких лет расхождения и всего, что успело произойти со страной, не знаю, но совершенно уверен, что ещё до разговора они немедленно обнялись бы, на минуту пряча глаза друг от друга, и в мгновение этого любящего, прощающего, всё между ними и нами разрешающего объятия — что-то случилось бы и в самом сердце России дорогое и необходимое.

И когда после возвращения с кладбища Валентин Григорьевич обнимал Марью Семёновну, я ясно видел, как Виктор Петрович в проёме двери улыбнулся, глядя на них,

и лицо его было светло и благодарно жизни за её мудрость и милосердие. Ничего я тут не сочиняю «для поэзии». А только вижу — и всё. Да и ты, ты, читатель ведь видишь, иначе за чем мы разговариваем?

Я с печальной нежностью закрываю эту, к сожалению, по разным причинам неполную переписку двух великих художников и примиряющей Марьи Семёновны и с острой грустью вижу, что все мы остались «на том берегу» невозвратно ушедшей жизни, что время ушло не вперёд, а куда-то «вбок» от того, что казалось нам естественным и необходимым в духовном устройении

жизни. Что переписка — уже «памятник русской культуры и истории переломных лет. И «Последний поклон» был подлинно последним.

Но утешаю себя тем, что, когда соберётся всё эпистолярное наследие Валентина Григорьевича (а оно навряд меньше, чем у Виктора Петровича), мы увидим и жизнь, и историю полнее, светлее, ближе, естественнее. И «тот берег» окажется частью этого, потому что река эта не Лета, а всё та же матушка-жизнь, у которой «нет конца» и все мы часть её небесного свода, а русское слово — всё у Бога, и всё — Бог.

Михайловское, октябрь 2016.